КНИГА ПЕРВАЯ

КАНЦЕЛЯРИЯ СМЕРТЕЙ

Повесть о лишней подписи



Е. В. БЕЛЫЙ

романтическое фэнтези

Евгений Белый

Канцелярия смертей.

«Автор»
2026

Белый Е.

Канцелярия смертей. / Е. Белый — «Автор», 2026

В Каэрне человек умирает не тогда, когда перестаёт дышать, а когда его смерть проведена по Реестру. Вера Дрёмина, писарь третьего стола Канцелярии окончательных записей, знает это лучше других: четыре года она ставит печати на чужих смертях.В день новолуния она находит в листе сверки собственную запись. Срок — сегодняшняя полночь. Причина — остановка сердца. Подпись — её собственная рука, одиннадцать лет назад, на бумаге, которую ей подсунула мать.Теперь у Веры сутки, чтобы понять, кто и зачем вернул старый долг. Ей придётся работать с дознавателем Отдела тишины — человеком, который слышит ложь и никогда не расстаётся с чёрным зонтом. Вместе они выйдут на след двенадцати подписей, изъятых жизней и Секретаря Реестра, который не считает себя убийцей: он всего лишь оформляет.Бумага не врёт. Врут руки. Но руки можно поймать.

© Белый Е., 2026
© Автор, 2026

Содержание

Глава 1. Запись № 44 719 5
Глава 2. Отдел тишины 11
Глава 3. Двенадцать подписей 18
Конец ознакомительного фрагмента. 19

Евгений Белый
Канцелярия смертей.

Глава 1. Запись № 44 719

Меня зовут Вера Дрёмина, мне двадцать три года, и я служу писарём в Канцелярии окончательных записей. В Каэрне человек умирает не тогда, когда перестаёт дышать, а тогда, когда его смерть проведут по Реестру.

В тот день я нашла в листе сверки свою собственную смерть. Срок стоял на полночь, причина — остановка сердца, и подпись под записью была моя.

А началось всё с покойника, которого не было.

Точнее, покойник был. Он лежал в морге на Мокрой улице, третий день, в хорошем гробу, и пах. Пахло, впрочем, больше от шарфа, который вдова принесла с собой, — на опознание. Но в Реестре он не значился умершим. А без записи человек не умирает. Он остаётся. Лежит, разговаривает, портит воздух и жизнь родственникам.

Вдова стояла у моего окошка и держала шарф, как вещественное доказательство.

— Третьего дня, — сказала она. — В четверть двенадцатого. Я сама слышала, как он перестал дышать. Я лежала рядом.

— Соболезную. Номер дела?

— Какого дела? Он умер.

— По документам он жив, — сказала я. — В списке домовладельцев значится, налог за январь уплачен, жалоб не поступало. Мне нужен номер.

Она положила шарф на прилавок. Шарф был серый, домашней вязки, и от него пахло мокрой собакой и табаком.

— Мне не нужен номер, — сказала вдова. — Мне нужен муж.

Такие разговоры я веду четвёртый год. Я научилась не смотреть людям в лицо дольше двух секунд и не говорить «понимаю». Понимать тут нечего: человек пришёл не за пониманием, а за бумагой, и бумаги у меня нет.

— Без сосуда я не могу внести запись, — сказала я. — Вздох у вас?

— Какой вздох?

— Последний. Жнец забирает дыхание в сосуд, приносит сюда, я вношу. Без сосуда — только через комиссию по потерям, а там очередь на девять месяцев и требуется справка о том, что покойный действительно покойный.

— Так он же в гробу!

— Справка нужна от лекаря. С печатью. И ещё одна — от управы, что лекарь настоящий.

Вдова долго молчала. В очереди за ней кто-то вздохнул так, что вздох этот можно было сдать вместо мужа.

— В прошлый раз, — сказала она наконец, — в прошлый раз всё было быстрее.

— В прошлый раз был пожар на Соляной, — сказала я. — Тогда жнецов прислали вдвое больше нормы. Мне очень жаль.

Она забрала шарф. Уходя, сказала, что я — бюрократическая сволочь, но без злобы, скорее как сообщают погоду. Я записала в журнал: «Отказано по существу. Основание: отсутствие сосуда. Заявительница уведомлена». Буквы получились ровные. Я всегда гордилась буквами. Если бы мне платили за буквы, я бы жила на Пыльной улице с видом на что-нибудь другое, чем стена соседнего дома.

Очередь двинулась. За вдовой пришёл старик с жалобой на соседа, который «слишком долго умирает и этим мешает спать», потом женщина, которой дважды провели смерть све-

крови и один раз — свекрови соседки, потом молодой человек с вопросом, можно ли провести свою смерть заранее, чтобы не стоять в очереди в день, когда она понадобится.

— Нельзя, — сказала я. — Только в порядке поступления.

Он ушёл расстроенный. Люди вообще расстраиваются, когда узнают, что смерть — это не событие, а процедура. Событие — это когда процедуру провели неправильно.

— Дрёмина, — сказала Рита, появляясь сбоку прилавка, как появляются только посыльные и кошки. — Тебе привет от четвёртого стола и справка от третьего. Не расписывайся, там всё равно подпись Пирса.

Маргарита Соловей была посыльной и работала на полставки, но знала Канцелярию лучше, чем архитектор, который её построил. Девятнадцать лет, рыжая, с карманами, которые спереди оттопыривались, а сзади не оттопыривались никогда. Её пропуск был выписан на имя «М. Соловей, доставка», а её настоящая профессия называлась «а если я узнаю, я вам расскажу».

— Что в архиве? — спросила я.

— Свечи опять недосчитались. Третью неделю. Кладовщик говорит, мыши, но мыши не едят воск и не запирают за собой дверь.

— Что на девятом?

— Чай с бергамотом на двоих. — Рита понизила голос до уровня, при котором его слышно только в трёх ближайших отделах. — И приказ: весь лист сверки — копию! — в секретарский сейф, а не в общую папку.

Я перестала писать.

— А что жнецы?

— Жнецы жалуются. — Рита пожала плечами. — За прошлый месяц двенадцать сосудов пришли пустыми. Двенадцать, Дрёмина. Это как раз их месячная норма по незавершённым.

— Пустые сосуды — это как?

— Это когда вздоха нет, а запись есть. — Она посмотрела на меня внимательно. — Ты чего?

— Ничего, — сказала я. — Справку оставь, я подошью.

Она ушла, а я ещё минуту сидела и смотрела на цифру двенадцать. Двенадцать пустых сосудов. Двенадцать записей в листе сверки. Совпадения в Канцелярии случаются, но обычно по три штуки, потому что копий три.

***

Третий стол занимал половину второго этажа и всю скуку мира.

Четыре писаря, одно окно во двор, где всегда сыро, и печка, которую топили казённой макулатурой. Пахло чернилами, чабрецом и мокрой бумагой. У окна сидел Матвей Ильич Гусь, старший писарь, сорок четыре года службы, артрит в обеих руках и табакерка, из которой он не нюхал табак, а кормил голубей с подоконника. За перегородкой сидел столоначальник Пирс, у которого от страха перед начальством дрожала левая рука, а правая была свободна исключительно для подписи.

Я села на своё место, поправила карточки, отобрала у кошки Пломбы казённое перо — она спала на моих входящих и жрала всё, что плохо лежит, — и приступила.

Работа писарей третьего стола — проводить смерти. Не решать, не судить, не выбирать. Проводить: сверить сосуд, вписать имя, причину, час, поставить печать, вложить копию в книгу стола, отправить вторую копию наверх. Всё остальное — не наше дело.

Я любила эту работу. Мне нравилось, что у неё есть начало и конец. Что человек входит в дверь, а выходит с бумагой. Что если ты поставил печать ровно, то день не прошёл зря. За четыре года я провела две тысячи восемьсот шестьдесят три смерти. У меня был самый ровный оттиск на этаже и самый низкий оклад: семнадцать грошей в неделю, шесть из них уходили за

комнату, три — за еду, два — на дрова, остальное я откладывала на новое перо и на то, чтобы однажды уйти из Канцелярии до полуночи.

Одно неудобство: я слышу чернила.

Началось в девятнадцать, на второй месяц службы. Я ставила печать на записи о старухе с Приютской, и вдруг поняла, что буквы под моей рукой звучат — тихо, как палец по мокрому стеклу. Чернила говорили не словами. Они говорили рукой, которая их положила: спешила, боялась, врала. С тех пор я слышала так каждую запись. Я научилась не слушать: считать буквы, проверять оттиск, думать о дровах.

Про таких, как я, в Канцелярии есть отдельная формулировка. «Изъят и приведён в соответствие». В прошлом году так изъяли Ксению с четвёртого стола: пришли в обед, вывели под руки, к вечеру стол был уже чужой, а на вопрос, где Ксения, Пирс ответил, что она переведена. Куда переводят людей, которые слышат чернила, я не знала и знать не хотела. Поэтому у меня всегда болела голова, когда я слышала слишком хорошо, и поэтому я не говорила об этом вслух — даже Матвею Ильичу, который, я почти уверена, догадывался.

К полудню пришёл Пирс.

— Дрёмина. Лист.

Он положил на прилавок жёлтый лист и держал ладонь сверху, будто лист мог убежать.

— Перепиши набело. К вечеру. Секретарская сверка завтра, в полночь, а у нас, как всегда, всё в последний момент.

— Сегодня же полнолуние, — сказала я.

— Новолуние, — сказал Пирс. — Сверка при новолунии. Ты четыре года служишь, Дрёмина, или четыре года делаешь вид?

— Я делаю вид, — сказала я. — Это входит в оклад.

Пирс ушёл. Лист остался. Сверка при новолунии — это когда в Главном зале Секретарь читает вслух всё, что подлежит исполнению, и ставит печать. Я видела один раз, в первый год, из-за колонны: огромный стол, свечи, серые перчатки, голос, от которого хочется встать.

Лист был обычный. Двенадцать записей на исполнение — по одной на каждого незавершённого, чей срок истёк в этом месяце. Имена, часы, причины. Прочерки в графе «подпись». Я переписывала такие десятки раз — красивым почерком, чтобы Секретарю было приятно читать.

На седьмой строке я остановилась.

«44 719. Дрёмина Вера Андреевна, 23 г., писарь 3-го стола. Срок: 14 марта, полночь. Причина: остановка сердца. Подпись: В. Дрёмина».

Я читала это долго. Потом посмотрела на календарь, прибитый к стене гвоздём. На календаре стояло 14 марта.

Потом я посмотрела на часы. Часы шли.

Потом я сделала то, что делает любой человек на моём месте: проверила, не ошибка ли. Взяла рабочую карточку, подняла книгу стола, нашла номер. Запись была везде. Рабочая карточка, книга, и — я сходила к Пирсу, пока он не ушёл на обед, — Главный реестр: там, на листе 40-м, в томе «Д», стояло моё имя, и против него стояла подпись.

Моя подпись.

Я знаю, как выглядит моя рука. Четыре года я выписывала её на тысячах документов. С завитком у «В», с хвостом у «Д», с наклоном влево, за который меня ругали в школе. Здесь был тот же завиток и тот же хвост, только почерк был крупнее и неувереннее — так подписываются дети, которых впервые попросили подписаться.

Я села на подоконник в коридоре и просидела так, наверное, минут десять. Мимо ходили люди с папками. Кто-то поздоровался. Я кивнула.

Потом спустилась на четвёртый стол, к Гансу, который знал устав лучше, чем свою жену.

— Ганс. Если человек нашёл свою запись — что он может сделать?

Ганс не удивился. На четвёртом столе не удивляются, там оформляют.

— Отсрочку, — сказал он. — Один раз. Не более суток.

— Кто ставит?

— Дознаватель Отдела тишины. Серебряной печатью. — Он посмотрел поверх очков. — И только если запись поддельная. Тогда отсрочка — до выяснения.

— А если не поддельная?

— Тогда не положено.

Он вернулся к бумагам. Я постояла ещё немного и ушла. У меня не было ничего: ни подделки, ни объяснения, ни суток. Только моя собственная подпись одиннадцатилетней давности, аккуратная, как крючок для пальто.

Чернила, которыми была сделана запись, говорили. Они всегда говорят, если прислушаться, — я слышу их с девятнадцати лет, и это не дар, а болезнь, за которую в этом здании изымают. Их голос похож на то, как если бы кто-то вёл пальцем по мокрому стеклу. Эти чернила были серебряные, личные, и они пахли не железом, а детством — тёплой рукой, которую держат слишком крепко, и страхом, от которого пахнет молоком.

Я сама это писала. Одиннадцать лет назад. Мне было двенадцать.

Тогда стоял февраль, и я умирала от лихорадки в комнате на Пыльной. Помню потолок: на нём расплылось пятно, похожее на карту острова, и эту карту я изучала три недели. Помню, как мать держала меня за руку — слишком крепко, как держат, когда боятся, что вырвут. Помню бумагу: она легла мне на одеяло, сверху легла рука с ручкой, и голос сказал: «Подпиши, детка. Это чтобы тебе стало легче».

Я подписала. «В» получилось с завитком, «Д» — как крючок для пальто. Я ещё подумала: вот вырасту, научусь писать красиво.

Ночью жар спал. Утром пришёл лекарь, пощупал пульс, сказал «выкарабкалась» и выписал счёт. Через год мать уехала.

Первое, о чём я подумала сейчас, — спрятаться. Второе — что прятаться бессмысленно, и это я знала точно, потому что в позапрошлом году у нас был случай. Писарь из отдела учёта, Пётр Клайн, нашёл в книге свою запись на пятницу. В пятницу он не пришёл на службу: уехал к тётке в деревню, заперся в подвале, сидел на мешке с репой и держал в руках топор. Его нашли в субботу. Топор был цел, репа тоже. Клайн умер ровно в полночь, сидя на мешке, и на лице у него было написано исключительно удивление.

Бумага не ищет. Бумага не гонится. Бумага просто приходит в назначенный час, и всё, что ты успел сделать, — это выбрать, на чём сидеть.

***

В этот момент мне следовало пойти к Матвею Ильичу.

Я пошла к Матвею Ильичу.

Он сидел у окна, пил чай с чабрецом и смотрел, как голуби дерутся за корку. Услышав про 44 719, он не удивился. Он поставил чашку очень аккуратно, чтобы не звякнула, и сказал:

— Сядь.

Я села.

— Покажи.

Я показала карточку. Он держал её двумя пальцами, потому что остальные не гнулись, и читал долго, хотя там было четыре строки.

— Это не твоя бумага, — сказал он наконец.

— На ней моя подпись.

— Подпись — твоя. Бумага — не твоя.

— Матвей Ильич.

— Вера. — Он впервые за четыре года назвал меня по имени. — Ты хороший писарь. Ты ставишь ровный оттиск. Это всё, что я могу тебе сказать, и даже этого я говорить не должен.

— Что мне делать?

— Работать, — сказал он. — До полуночи ещё десять часов. У тебя двенадцать записей.

Я вернулась за стол. Руки у меня были холодные, но работали. Я переписала лист набело — все двенадцать, включая седьмую строку, потому что если бы я её пропустила, это заметили бы сразу. Красивые буквы. Ровный оттиск.

Потом я взяла рабочую карточку 44 719 и сожгла её в печке.

Она не горела.

Точнее, горела — картон обугливался, чернел, но единственная строка, единственная проклятая строка, оставалась белой и читалась отчётливо, как будто её написали на саже. «Дрёмина Вера Андреевна. Срок: 14 марта». Пломба проснулась, посмотрела на меня жёлтым глазом и ушла под шкаф.

— Три копии, — сказал Матвей Ильич, не поднимая головы. — Карточка, книга, Главный. Сжечь можно карточку. Книгу можно вырвать — вырвут вместе с рукой. Главный реестр не горит. Главный реестр вообще не бумага, Вера. Это закон.

Он помолчал.

— И ещё. Лист сверки уже подписан Пирсом и отправлен на девятый этаж. — Он поднял на меня глаза, и я увидела, что он боится. — Тебя не случайно поставили седьмой строкой. Кто-то хотел, чтобы ты это увидела, и хотел, чтобы увидела именно ты, а не Пирс. Понимаешь, что это значит?

Я понимала. Это значит, что меня не убили тихо. Меня пригласили.

***

До вечера я работала.

Провела две смерти: старуху с Приютской, у которой в сосуде оказался не вздох, а кашель, и жестянщика с Мокрой, умершего так аккуратно, что даже причина в справке была написана без ошибок. Поставила оттиски. Подшила копии. Выпила три стакана воды из графина и ни разу не посмотрела на часы.

В шесть пробили к уходу. Писаря ушли, столы опустели, Пирс ушёл последним, предварительно подойдя ко мне и сказав: «Ты это... не думай». Матвей Ильич не ушёл. Он сидел у окна, смотрел, как голуби укладываются на карнизе, и не пил свой чай — чай остыл, а он всё держал чашку.

В семь зажгли газ. В девять внизу хлопнула входная дверь, и по лестнице пошли шаги. Ровные. Как метроном.

В дверях третьего стола стоял человек.

Он был высокий, в чёрном пальто, и держал чёрный зонт — не в руке на отлёте, как держат зонт, а у бедра, как держат трость. В помещении. Перчатки у него были серые, тонкие, и он не снял их, когда вошёл. За его спиной висел на стене список погибших при пожаре на Соляной, и он стоял так, что список оказался ровно у него над плечом.

— Дрёмина Вера Андреевна? — спросил он. Голос был ровный, без интереса. — Отдел тишины. Вы сегодня подписали одну интересную бумагу.

Пирс вскочил так, что опрокинул чернильницу.

— Мы всё исправим, — сказал он. — Это ошибка, это техническая ошибка, я лично...

— Не сомневаюсь, — сказал человек с зонтом. — Дрёмина. Двадцать минут. Восьмой этаж, кабинет четырнадцать.

Он повернулся и вышел. Каблуки у него стучали ровно, как метроном, и этот стук ещё долго стоял у меня в ушах.

Матвей Ильич смотрел в чашку.

— Матвей Ильич, — сказала я. — Что такое «изъять и привести в соответствие»?

Он не ответил.

На лестнице меня догнал Пирс.

— Дрёмина! — Он схватил меня за рукав и тут же отпустил. — Ты не волнуйся. Это недоразумение. Я подам докладную, я объясню, что ты не причастна...

— К чему, Пирс?

Он открыл рот и закрыл.

— К этой бумаге, — сказал он наконец. — Ты же понимаешь, я обязан.

Я понимала. Пирс был человеком, который обязан. Это была его единственная профессия.

— Покормишь Пломбу, если я не вернусь? — спросила я.

— Что?

— Кошку. Она ест перья. Казённые.

Пирс посмотрел на меня так, как будто я уже умерла и он подбирал формулировку для записи.

Я взяла лист сверки, сложила его вчетверо и сунула за пазуху. Потом взяла карандаш, который грызла с утра, и зачем-то — казённое перо, хотя перо мне больше не понадобится. Пломба вылезла из-под шкафа и села у моих ног.

В Канцелярии пробило девять. До полуночи оставалось три часа.

Глава 2. Отдел тишины

Восемь этажей — сто девяносто две ступени. Я знаю точно, потому что считала их всю дорогу: считать ступени — единственное занятие для рук, когда руки пустые, а голова занята тем, что ей не нравится.

На шестой площадке окно не закрывалось. Вода шла по раме и собиралась на подоконнике, как в блюдце. Там же стоял Пирс. Он держал папку обеими руками, как держат крышку гроба, и, увидев меня, обрадовался так, что я сразу поняла: попросит подписать.

— Дрёмина. Вот. — Он сунул папку мне в руки. — Ознакомительная записка. Что вы явились добровольно.

— Я не добровольно.

— Это формальность. Подпишите — и всё.

— Пирс. — Я посмотрела на него в упор. — Вы хотите, чтобы я подписала бумагу о том, что я добровольно пришла подписывать бумагу, по которой меня исполнят в полночь.

— Ну...

— Я больше не подписываю ничего. Никогда. Ни при каких обстоятельствах.

Он забрал папку и ушёл вниз, и на лестнице ещё долго было слышно, как он извиняется перед ступенями.

На седьмой меня обогнал курьер с папкой и наступил на подол. На восьмой кончился ковёр и начался коридор, в котором пахло не бумагой, а железом.

Табличка на двери была привинчена криво, двумя шурупами из четырёх: «Отдел тишины. Приём по вторникам и пятницам, с двух до четырёх». Была пятница, половина десятого вечера. Меня не принимали — меня вызвали. Разница в том, что приём можно переждать.

Я постучала. Подождала. Вошла.

***

Кабинет был узкий, как пенал.

Стол, два стула, шкаф с карточками. На подоконнике графин с водой и один стакан. Ни чайника, ни чашки, ни сухарницы — графин. В Канцелярии не бывает кабинетов без чая: чай здесь единственное, что склеивает людей и бумаги. В четырнадцатом кабинете чая не было.

На стене висел список: имена от руки, с номерами дел. Я успела прочесть первые три, прежде чем он сказал:

— Дрёмина. Сядьте.

Вейн стоял у окна спиной ко мне, зонт у бедра. Стёкла запотели снизу — на восьмом этаже всегда так: под нами триста лет отопления и ни одной работающей вытяжки.

— Я постою.

— Сядьте.

Я села. Стул оказался ниже, чем я думала, и я села на него слишком быстро, как садятся люди, которых поймали за руку.

Вблизи в нём не было ничего примечательного, кроме перчаток. Серые, тонкие, обтянутые так, что видны костяшки. Он не снял их ни тогда, ни потом.

— Имя, стол, выслуга.

— Дрёмина Вера Андреевна. Третий стол. Четвёртый год.

— Хорошо. — Он сел напротив и положил зонт на стол поперёк, как кладут линейку. — Вы знали, что подписываете запись сорок четыре семьсот девятнадцать?

— Нет.

Он посмотрел на меня. Не прищурился, не нахмурился — посмотрел, как смотрят на часы, которые врут.

— Вы сказали «нет» и посмотрели влево.

— Я всегда смотрю влево. У меня там окно.

— Окно у вас за спиной.

Я обернулась. За стеклом было черно, и в черноте отражалась лампа.

— Значит, дверь.

— Дверь справа.

Молчание — тоже ответ, только менее подшитый.

— Мне было двенадцать, — сказала я. — Я не помню, что подписывала.

— Это правда. — Он налил воды в стакан и подвинул его мне. Стакан был с щербиной на ободке. — Первое правдивое предложение за вечер.

Вода отдавала жестью. Я держала стакан двумя руками и не пила.

— У вас нет чая, — сказала я.

— Нет.

— Вы не пьёте?

— Не пью. — Он налил себе второй стакан и выпил его сразу, как принимают лекарство. — Чай — это разговор. Я на службе.

— Кто дал вам бумагу?

— Не помню.

— Влево.

— Я не помню лицо.

— Лицо вы помните. Вы помните руку, которая держала вашу. Поэтому и смотрите влево: лицо у вас справа.

— Матвей Ильич говорит, что бумага не врёт, — сказала я. — Врут руки.

— Матвей Ильич сорок четыре года ставит печати. Он имеет право на афоризмы. Вы — нет.

Он открыл ящик и выложил на стол карточку. Не мою — чужую, с пятого стола, судя по номеру.

— Что вы слышите?

— Я не слышу.

— Дрёмина.

— Я слышу шкаф, — сказала я. — Он скрипит.

— Не шкаф.

Я посмотрела на карточку. Я могла не смотреть — я всё равно слышала её с той секунды, как он открыл ящик. Буквы говорили тихо, как палец по мокрому стеклу.

— Левша, — сказала я. — Спешил. Перо было дрянное, он макал три раза на одну строку. И чернильница разбавлена — вода, не меньше трети. Поэтому буквы расплываются.

Вейн кивнул.

— Писарь пятого стола Гурт, — сказал он. — Уволен в ноябре за разбавленные чернила. Вы не знали об этом, когда отвечали.

— Не знала.

— Теперь вы понимаете, что мне нужно.

Я поставила стакан. Щербина царапнула по столу.

— Вы меня проверили, — сказала я. — А теперь можете написать бумагу. «Изъят и приведён в соответствие». Вам ведь за это доплачивают.

— Не доплачивают. — Он убрал карточку обратно. — И я не пишу таких бумаг.

— А кто пишет?

— Тот, кто ставит подпись.

Он сказал это ровно, как сообщают погоду, но я уже поняла, что в этом кабинете каждое предложение — по существу.

— Вы слышите чернила, — сказал он. — Я слышу ложь. Только ложь. Свою тоже. Поэтому и не вру: это не добродетель, это слух.

— Проверим.

— Проверим, — согласился он. — Вы боитесь?

— Нет.

— Влево.

— Боюсь.

— Спасибо, — сказал он.

Он выходил дважды: первый раз — убрать карточку Гурта в шкаф, второй — за папкой с копией. Оба раза дверь закрывалась, и я оставалась одна в кабинете, где не было чая, и слушала, как в графине оседает вода. Часы над дверью отщёлкивали минуты с таким видом, будто делали мне одолжение. Так прошло, наверное, часа полтора.

***

Он достал папку.

В папке лежала копия — не карточка, а лист, снятый под прессом, с водяным знаком и подписью свидетеля внизу.

— Копия с Главного реестра, — сказал Вейн. — Снята при двух свидетелях и в присутствии Пирса, который при этом плакал. Реестр из зала вынести нельзя. Копию снять можно.

Я знала эту строку наизусть. Седьмая.

— Подпись ваша, — сказал он. — Я сверил с вашими карточками за четыре года. Наклон влево, завиток у «В», хвост у «Д». Так подписываются, когда первый раз в жизни просят подписаться.

— Я знаю.

— Значит, подделки нет.

— Я знаю.

— Значит, нет и основания для отсрочки. — Он закрыл папку. — Отсрочка — серебряная печать, не более суток. Ставится, когда запись поддельная. Ваша запись подлинная: срок сегодня, причина — остановка сердца, рука ваша. Мне нечего предложить вам по закону.

Я ждала, что он скажет «но».

Он сказал:

— У меня есть производство.

— Какое производство?

— О двенадцати пустых сосудах. — Он кивнул на стену. — За прошлый месяц жнецы принесли двенадцать сосудов без вздоха. Двенадцать записей есть, смертей за ними нет. По каждому открыто дело. Двенадцатой строки пока нет: срок не наступил.

— Можно посмотреть?

Он снял список со стены и положил на стол, ближе к лампе. Бумага была плотная, линованная, и двенадцать строк шли сверху вниз, как в школьной тетради, только вместо отметок стояли номера дел.

Глаша Мокрецова, пятьдесят один год, прачка. Ким Витт, сорок четыре, фонарщик. Тоня Бек, двадцать девять, швея. Лёлик Сомов, семнадцать, посыльный. Дальше я не читала: дальше были такие же — люди без чина, без стола, без выслуги, из тех, чьи дела в очереди не задерживаются, потому что за них некому стоять.

Двенадцатая строка была пустая. В ней стоял номер дела и знак вопроса, написанный его же почерком.

— Мокрецова стирала скатерти в Главном зале, — сказал Вейн. — Витт зажигал фонари на Соляной. Бек шила мешки для Архива. У всех срок истёк, все значатся незавершёнными, у всех изъят остаток.

— Кем?

— Пока не знаю. — Он повесил список обратно. — Двенадцатой не знаю совсем.

— И я тут при чём?

— Вы переписывали лист сверки. Ваша рука на копии, которую я держу. — Он помолчал ровно настолько, чтобы я успела испугаться. — Свидетель не может быть исполнен до дачи показаний. Это не отсрочка по подделке, это отсрочка по производству. Формулировка другая. Смысл тот же.

— Сутки.

— Не более. Ставится в трёх местах: рабочая карточка, лист сверки, журнал Отдела. Если хоть одного оттиска нет — отсрочка недействительна, и в полночь всё идёт по расписанию.

— То есть вы можете поставить мне сутки только потому, что вам от меня что-то нужно.

— Да.

— И вы в этом признаётесь.

— Я не умею иначе, — сказал Вейн.

***

— Что именно вам нужно? — спросила я.

— Уши, — сказал он. — И память. Вы будете слушать записи и говорить мне, что слышите. Я ищу человека, который переписывает.

— Переписывает что?

— Записи. Берёт чужую карточку, стирает срок и ставит новый. Или вписывает в чужую смерть чужое имя. Снаружи всё чисто: подпись настоящая, номер на месте, печать правильная.

— А в чём тогда подлог?

— В том, что подпись настоящая, а рука не та. — Он повернул лист к себе. — Десять лет я проверяю такие записи. Триста сорок штук. В каждой подпись подлинная. В каждой — другая. Я не могу поймать руку, потому что рука каждый раз новая, а чернила, Дрёмина, одни и те же.

Я поняла, что он говорит, и мне это не понравилось.

— Поэтому я вам и нужна.

— Поэтому вы мне и нужны. Я слышу, что человек врал, когда вёл запись. Про сами чернила я не слышу ничего. У меня нет слуха на правду.

Он встал, подошёл к окну и остался там.

— Условие, — сказал он. — Я не спрашиваю, откуда у вас дар. Вы не спрашиваете, зачем мне это.

— А если я спрошу?

— Тогда я отвечу, и мы оба об этом пожалеем.

— Хорошо, — сказала я. — Тогда я тоже поставлю условие. Третий стол не трогать.

— Третий стол я не трону.

— Матвея Ильича не трогать.

— Матвея Ильича не обещаю. — Он смотрел в стекло. — Я не могу обещать того, чего не сделаю.

— Вы очень честный человек, — сказала я. — Это ужасно неудобно.

— Знаю.

Я встала. Стул отъехал назад с тем самым звуком, который в Канцелярии означает конец разговора.

— Я подумаю.

— До полуночи сорок минут.

— Это не срок для размышлений. Это срок для паники.

— Паника не оформляется, — сказал он. — Я пробовал.

Я подошла к двери. Взялась за ручку. Ручка была холодная. В коридоре кто-то шёл, и шаги были не наши.

— Если я откажусь, — сказала я, не оборачиваясь, — вы поставите отсрочку?

— Нет.

— И что тогда?

— Тогда я вернусь к столу и допишу производство. — Голос у него был всё такой же, ровный. — В нём будет сказано, что свидетель Дрёмина отказалась давать показания по делу о двенадцати сосудах и была исполнена по своей записи в установленный срок. Это будет правда. Я не люблю, когда в бумагах неправда.

Я стояла с рукой на ручке.

— Я торгуюсь с вами моими сутками, — сказала я. — У меня оклад семнадцать грошей в неделю, шесть за комнату, три за еду, и единственное, чего у меня в жизни не было, — это выбор. Вы предлагаете мне выбор между определённой смертью и работой на человека, которого я боюсь.

— Да.

— Вы невероятно вежливы.

— Я не умею иначе, — повторил он.

Я вернулась и села.

— Согласна.

Он не обрадовался. Он вообще никак не отреагировал, как будто я подтвердила то, что стояло в накладной.

— Одно, — сказала я. — Если я умру, вы не будете писать, что я была чтецом.

— Не буду.

— Напишете «писарь третьего стола». И в причине — «остановка сердца». Пусть будет неправда.

Он помолчал.

— Хорошо, — сказал он. — Это единственная ложь, которую я когда-нибудь напишу.

— И что будет в полночь? — спросила я. — Пятнадцатого.

— Придёт жнец с сосудом. Вы отдадите вздох, запись закроют. — Он смотрел на меня без всякого выражения. — Если к тому времени не найдётся основание для исправления.

— Основание — это что?

— Подпись того, кто переписал. Или признание. Или лист сверки, снятый до сверки. — Он загнул в перчатке три пальца, один за другим. — Второй отсрочки не будет. Ни у меня, ни у Секретаря. Правило одно на всех.

— Утешили.

— Я не утешаю. Я ставлю в известность.

***

— Сестра, — сказал он вдруг, без перехода. — Десять лет назад.

Я не спрашивала. Он всё равно говорил, глядя в стекло, и в стекле отражался только графин.

— Ей было девятнадцать. Она слышала чернила. Я тогда служил второй год и вёл записи на шестом, а она — на четвёртом, вместе с Гансом. — Пауза. — В феврале она заболела. Горячка. Я в тот день вносил чужие смерти, двадцать три штуки, и не пришёл к ней ни разу. На четвёртый день запись о ней уже стояла. Срок был проставлен задним числом.

— И?

— И ничего. Официально — горячка.

— А неофициально?

— А неофициально её срок стёрли и вписали новый. — Он повернулся. — Серебряными чернилами. У неё была своя ручка, личная, и серебро для личных подписей. Серебра в Канцелярии выдают три порции в год: Секретарю, старшему писарю и дознавателю. Или тому, кого дознаватель попросит.

— Вы хотите сказать...

— Я хочу сказать, что её запись переписали, а я не услышал. — Он произнёс это так же ровно, как всё остальное, и от этой ровности у меня заныли зубы. — Поэтому я ищу не убийцу, Дрёмина. Я ищу руку. Убийц у нас в Канцелярии нет. У нас есть исполнители и оформители.

Я сидела очень тихо. Где-то внизу, на первом этаже, закрыли створку — звук поднялся по лестнице, как по трубе.

— Соболезную, — сказала я.

— Не надо. — Он уже выдвигал ящик. — Соболезнования принимают, когда дело закрыто.

***

Ящик был с секретом: он повернул медную шпильку, и дно поднялось.

В гнезде, обтянутом зелёным сукном, лежала печать — серебро, тяжёлое, с ручкой в виде зонта. Купол, спица, крючок.

— Серебряная, — сказал Вейн. — На карточку, в лист сверки, в журнал Отдела. Три оттиска. Ставьте сами.

— Это ваша печать.

— Это ваша запись. — Он подвинул футляр ко мне. — Я поставлю только время. Время — моя подпись. Оттиск — ваша.

Он выложил на стол карточку. Тонкую, обугленную по краям, с белой строкой посередине: «Дрёмина Вера Андреевна. Срок: 14 марта».

— Она была в печке, — сказал он. — У вас.

— Она не горела.

— Горела. Строка не горела.

Я взяла печать. Она была холодная и тяжелее, чем выглядела, — как будто внутри сидело что-то ещё, кроме серебра.

— Держите крепче, — сказал Вейн. — И не отпускайте.

Я приложила печать к карточке и надавила.

Ничего.

Серебро легло на бумагу и не оставило следа — как если бы я приложила к листу ложку. Я надавила сильнее. Под ладонью что-то дрогнуло, и я услышала собственные чернила: те, которыми подписалась в двенадцать лет. Они пахли молоком и страхом и говорили тонким голосом, который я не слышала одиннадцать лет.

— Не берётся, — сказала я.

— Серебро не ложится на серебро. — Вейн обошёл стол и встал у меня за спиной. — Вы сами себя подписали. Печать упирается в вашу собственную руку.

— И что делать?

— Не отпускать.

Он накрыл мою руку своей — в перчатке, сухой, тяжёлой — и надавил. Часы на стене показывали двадцать три сорок.

Чернила под печатью дёрнулись, как живая рыба. Я слышала, как они упираются: тонкий скрип, будто кто-то тащит стул по полу.

— Ещё, — сказал он.

Я надавила изо всех сил, обеими руками, и выругалась сквозь зубы — коротко и по-казённому.

Печать взялась.

Оттиск вышел неровный, с одного края бледнее, чем с другого, но это был оттиск: зонт, обведённый по кругу, и под ним дата.

— Второй, — сказал Вейн. — В лист.

Второй вышел ровнее. Третий, в журнал, — почти чисто. Он записал время: двадцать три сорок семь. Потом в графе «срок» зачеркнул одну дату и поставил другую.

— До полуночи пятнадцатого марта, — сказал он. — Сутки.

— У меня было двадцать минут.

— У вас было двадцать минут, — согласился он. — Теперь у вас сутки и работа.

Он убрал печать в футляр, футляр — в ящик, повернул шпильку. Потом надел пальто, которое всё это время висело на гвозде, и взял зонт.

У двери он остановился.

— Дождь будет к полуночи, — сказал он. — Не потеряй.

И вышел, оставив зонт на столе.

***

Я осталась сидеть. За окном по стеклу уже ползли капли, редкие, крупные, и в них отражался газовый фонарь со двора.

Зонт лежал поперёк стола, там, где он его положил. Чёрный, тяжёлый, с костяной ручкой, потёртой в том месте, где её держат.

Внизу пробило полночь. Я сосчитала удары — их было двенадцать, и после двенадцатого ничего не произошло: я всё ещё сидела, всё ещё держала стакан с щербиной, всё ещё дышала.

Я взяла зонт обеими руками. Он был тяжелее, чем полагается зонту, — так тяжелеет вещь, которую носишь не для дождя.

Полчаса назад у меня не было ничего, кроме семнадцати грошей в неделю и записи с моей подписью. Теперь у меня были сутки, чужая работа, чужой зонт и слово, которое я дала человеку, не умеющему врать.

Глава 3. Двенадцать подписей

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.